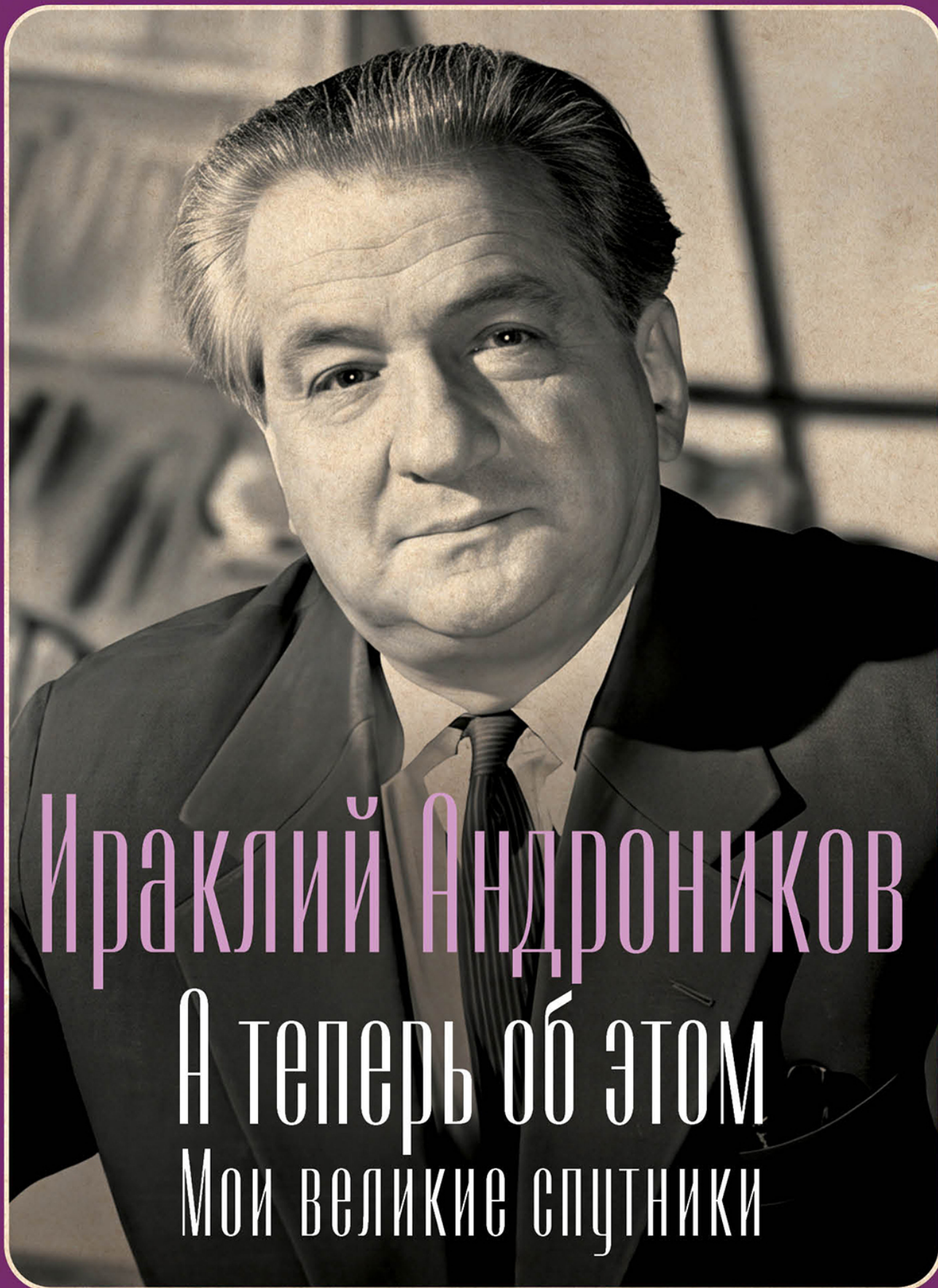


КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

*Бумага способна закрепить текст.
И бессильна передать самый «спектакль»,
игру – тембр голоса, манеру произношения...
а главное, интонации...*

И. Андронников



Ираклий Андронников

А теперь об этом
Мои великие спутники

Культурный слой

Ираклий Андроников

**А теперь об этом. Мои
великие спутники**

«Алисторус»

УДК 82-94
ББК 84стд1-442.3

Андроников И. Л.

А теперь об этом. Мои великие спутники / И. Л. Андроников —
«Алисторус», — (Культурный слой)

ISBN 978-5-00269-566-9

Кому удавалось объединить талант исследователя, писателя и лицедея, блистательного телеведущего? Он такой один, уникальный - Ираклий Луареабович Андроников (1908-1990). Непревзойденный рассказчик, мудрый и ироничный, влюбленный в литературу, музыку, живопись, в театр... Эта книга стала для него итоговой. В ней Андроников рассказал о замечательных людях, которых встретил на своем веку. Это Алексей Толстой, Юрий Тынянов, Корней Чуковский, Самуил Маршак, Фаина Раневская, Николай Мордвинов, Святослав Рихтер... Для каждого из них Ираклий Луареабович нашел точные и вдохновенные слова. Наблюдательный рассказчик оказался уникальным мемуаристом. Эта книга - заряд любви к жизни, к культуре, к таланту. Ираклий Андроников делится с нами своими счастливыми воспоминаниями. В формате PDF А4 сохранен издательский макет книги.

УДК 82-94
ББК 84стд1-442.3

ISBN 978-5-00269-566-9

© Андроников И. Л.
© Алисторус

Содержание

Как я попал в дом Толстого	6
Обед в честь Качалова	10
История этого рассказа	19
Благородный Качалов	21
Прогулка	24
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Ираклий Луарсабович Андроников
А теперь об этом
Мои великие спутники

© Андроников И. Л., правообладатели, 2026

© ООО «Издательство Родина», 2026

Как я попал в дом Толстого

Когда я познакомился с Алексеем Николаевичем Толстым, – это было в Ленинграде, в 1925 году, – ему было сорок два, мне – семнадцать. В самом факте знакомства нет ничего удивительного: пожать руку знаменитого человека может даже ребенок. А вот почему я с того времени стал бывать в его доме, даже гостил иногда по два и по три дня – это требует некоторых пояснений. Корни знакомства уходят в давние времена.

До революции наша семья жила в Петербурге. Отец принадлежал к числу крупных политических защитников и был дружен с другим известным адвокатом – Ф. А. Волькенштейном, который женился на поэтессе Наталье Васильевне Крандиевской. Хороша она была бесподобно – талантливая, красивая, обаятельная, милая, добрая. С их сыном – моим сверстником Федором Волькенштейном – мы поддерживали отношения на уровне елки.

В 1914 году Наталья Васильевна познакомилась в Москве с Алексеем Николаевичем Толстым и по возвращении в Петербург попросила у мужа развода. Волькенштейн не соглашался. В этих сложных обстоятельствах они обратились к моему отцу: он встал на ее сторону и уговорил Волькенштейна. Вместе с сыном Наталья Васильевна уехала в Москву и стала женой Алексея Николаевича Толстого. Тут наше знакомство оборвалось. И надолго.



Ираклий Андроников

В 1925 году я и мой брат Элевтер, двумя годами моложе меня (теперь он известным физик, академик Э. Л. Андроникашвили), из Тбилиси приехали в Ленинград, поселились у тетки. Я поступил в университет, брату надо было кончать школу.

Встретившись вскоре с 17-летним Федором Волькенштейном у его тетки, мы возобновили знакомство. Он побывал у нас и пригласил к себе в дом Толстого с «ответным визитом».

Толстые уже два года как возвратились из-за границы и жили в Ленинграде близ Тучкова моста на набережной реки Ждановки. Федор Волькенштейн в том году поступил в Политехнический институт и жил на той же лестнице, что и Толстые, в двухкомнатной квартире, на пол-этажа ниже. В этой же двухкомнатной квартирке жила Марьяна Толстая – дочь Алексея Николаевича от другого брака, в то время школьница.

Квартира нас поразила. Ковры. На стене – географические карты, на шкафу – глобус. В шкафу – новейшие книги по физике, химии, философии. Классики. Сочинения А. Н. Толстого. Мебель времен Александра I.

Старшие уехали в театр. Младшие спали. В десять часов нас повели в квартиру родителей – пить чай.

Комната, в которой нас посадили за стол, украшенная полотнами мастеров XVII и XVIII веков, произвела на нас еще более сильное впечатление. Мы боялись насорить, уронить, разбить. Угощала нас тетка Алексея Николаевича – «баба Маша» Тургенева – Мария Леонтьевна, родная сестра его матери. Старенькая, сгорбленная, гостеприимная. Наклоняясь над каждым из нас, она говорила:

– Кушай, мой миленький, кушай. Чаю хочешь еще? Ты не стесняйся. Да ты не объешь их. У Алеши сейчас деньги есть. Тебя звать-то как? Ираклий? Это кто ж тебе имя такое дал? Мама? А по батюшке тебя как величают-то? Как? Алу... Басар... Луарсаб? Господи, чего это она так постаралась!.. А тебя, миленький, Элевтер? Ну, Федя, как это ты не путаешься! И не запомнишь. Возьми еще пирожок. Кушай, кушай, мой миленький!

Пока мы прохлаждались горячим чаем, раздался звонок. И мы и хозяева наши выпрямились. Баба Маша сказала:

– Это Алеша с Тусей приехали. Да вы не пугайтесь. Алеша добрый. Он хороший, Алешка...

В дверях столовой появился высокий, элегантный, гладко выбритый барин. Мы вскочили. Помигав и всмотревшись в нас, он спросил:

– Фефочка! Это что за ребятишки такие?

В этот миг в комнату вошла, смеясь и протягивая к нам руки, прелестная Наталья Васильевна:

– Алеша, я тебе говорила. Это – мальчики Андрониковы, дети Луарсаба Николаевича...

– А, знаю. Их отец, – сказал Толстой медленно, отчеканивая каждое слово и скрывая улыбку, – тот благородный грузин, который помог мне вырвать тебя из объятий Фы. А. Волькенштейна. Фефочка! Эти мальчишки – грузины. Почему они у вас хлещут чай? Тащи сюда каберне и бокалы.

Налили нам по огромному зеленому фужеру, и, радуясь и потирая лицо ладошкой, Толстой скомандовал:

– За здоровье дома и женщин!

Мы выпили.

– Теперь за вас! Молодое поколение.

И десяти минут не прошло, как скованность наша совершенно исчезла. Толстой рассматривал нас в упор. Посмотрит и похочет:

– Фефочка! Где таких взял?

Каждая минута придавала нам бодрости. И когда Толстой спросил: «Парнишки, что вы умеете делать?» – тут мы уже уверенно закричали:

– Хотите – высшую школу езды?



Алексей Толстой

– Как это школу? Туся, иди скорее сюда! Ты пропустишь!..

Я выпрямился и опустил руки, чуть нагнув голову, брат, разбежавшись, вскочил мне на плечи, стиснул шею ногами, схватил мои волосы, как поводья, ударил меня несколько раз каблуками, стал меня дергать и горячить. Я закидывал «морду», косил глазом, жевал «удила», фыркал, ржал, пятился. Брат крикнул Федору, чтобы поставил передо мною банкетку, а сам «послал» меня вперед. Я перемахнул с ним через канапе, выскочил в коридор, снова влетел галопом... Толстой хохотал утробно:

– Туся, зови их на воскресенье обедать. Радловы, Щеголевы, ПеПеЛаз (так звали в их доме Петра Петровича Лазарева, академика), Дикий Алешка – да они все тут просто с ума сойдут.

Так мы попали в толстовский дом.

Обед в честь Качалова

Встречая друзей и знакомых, Алексей Николаевич Толстой через несколько минут говорил:

– Приезжайте к нам завтра обедать.

Или:

– Идемте обедать в «Квисисану».

Или еще один из множества «обеденных» вариантов:

– Туся, пусть они приезжают в воскресенье, к обеду.

Ехать надо было в Детское Село, нынешний город Пушкин, где Толстые жили с 1928 года – сперва занимали на Московской улице второй этаж довольно большого дома, а вскоре переехали на Пролетарскую, дом 4 – в двухэтажный уютный особняк с садом. Гостям в этом доме не было счету.

Семью составляли в ту пору: сам Алексей Николаевич Толстой; его жена – талантливая поэтесса Наталья Васильевна Крандиевская-Толстая (для него Туся); дочь Толстого от другого брака – Марьяна; сын Натальи Васильевны от другого брака – Федор Волькенштейн, в то время – Фефа; и два общих сына – Никита (1916 года рождения) и Митя (1922-го) – тогда совсем еще мальчишки, принимавшие, однако, самое живое участие в творческой жизни дома. Еще жила в доме теща Толстого – Анастасия Романовна Крандиевская, в свое время выступавшая в печати с рассказами. И родная тетка Алексея Николаевича – «баба Маша» Тургенева. На правах члена семьи воспринималась Юлия Ивановна, эстонка, воспитавшая младших Толстых, которой, по словам Алексея Николаевича, «жалованья не платили с двадцать третьего года» и без которой было бы все не так.



„ГАМЛЕТЪ“ Шекспира.

Моск. Худож. Театръ.

Гамлетъ—В. И. Качаловъ.

Фотогр. и худож. фотот. К. А. Фишеръ, Москва. 1912 г.

Кроме неожиданных обедов, без повода, а ради одной возможности пригласить и угостить с широтой римского вельможи Лукулла, получая от этих угощений неизъяснимое удовольствие, устраивались званые обеды «по поводу». То «Алеша написал новый рассказ и хочет его почитать». То «Алеша закончил пьесу, будет читать режиссеру, актерам, кроме них будут свои – детскоселы. И еще двое или трое писателей».

Не помню сейчас, в каком году именно, – в Ленинград на три дня приезжали артисты Художественного театра, привезли возобновленный спектакль «У врат царства», в котором главную роль бесподобно играл Василий Иванович Качалов. По такому необыкновенному случаю Толстые учредили обед, позвали уйму гостей на «Качалова». Утренний спектакль должен был кончиться к трем. Качалова ждут, сели за обед без него. Толстой поминутно выходит в переднюю. Наконец оттуда слышится его громкое оповещение.

И начинается мой рассказ «в лицах».

Толстой. Туся! Вася Качалов приехал! Честное слово... Здравствуй, Вася, здравствуй, милый! Почему ты так поздно? Мы ждали тебя к четверем, а сейчас скоро семь. Это просто нехорошо с твоей стороны. Гость уже два часа сидит на закуске. Я до тебя не велел подавать супа... Ну здравствуй!

Долгие поцелуи. И затем – глубокий, красивейший в мире голос, тембр которого всегда будет радовать и восхищать душу:

Качалов. Ты знаешь, Алеша, затянулся спектакль, а потом я тут как-то не сразу у вас разобрался... Здравствуй, Алешенька...

Толстой. Раздевайся скорей. Мы тут без тебя просто сдохли от скуки. Мальчишки, возьмите у него пальто... Слушай, Василий... Почему ты все время молчишь, а радуюсь я один?

Качалов. Постой, постой, постой! Что это ты говоришь такое? Я просто гляжу на тебя. И рад, что вижу тебя. И очень тебя люблю. Вот отогреюсь немного... Тут у вас в Ленинграде совсем другая погода – снега нет, а холод ужасный.

Толстой. Греться будем за столом... Ты здесь у нас еще не бывал – в Детском... Не туда пошел, там – чулан. Давай сюда!

В дверях, щурясь от яркого света, появляется Качалов. За ним – Толстой.

Качалов. Батюшки, сколько народу-то к тебе понаехало!.. И сколько знакомых и милых лиц... Голубушка, Наталья Васильевна, Тусенька... Сколько же это времени мы не виделись? (Склоняется и целует руку.) Верно, с той зимы, когда вы гостили в Москве, у своих.

Толстой. Милый, если ты начнешь выяснять, когда ты кого видел, – мы перемрем с голоду. Садись, ради Христа, кушай. Ты же оголодал... Туся, он весь холодный! (Смотрит на Качалова, мигает часто, смеется радостно, подпуская легкое рычание.) Садись... Налейте ему. И студень бери, Вася. Неправдоподобный студень – прозрачный и весь дрожит. Ты только попробуй... Ты не знаешь, какая тут была безумная тоска без тебя. Сидят все как поповны – тихие, скушные, говорят о постном, гоняют сопливые грибы по тарелкам. И все – непьющие. Один Петя Чагин выделяется: учит настаивать водку на свежих огурцах... Вон Коля Никитин пучит на тебя рачьи глаза и делает вид, что крепкого никогда не нюхал. (Улыбается, обводит глазами стол, смотрит, как смеются другие, и вдруг начинает смеяться сам на долгом выдохе.) ...Не задавайте Васе вопросов, не трогайте его руками и дайте ему поесть. Тогда и спросим с него...

Василий, ты Соколова-Микитова знаешь – Ивана Сергеевича? Вон он сидит, улыбается. Он на каком-то дырявом каркасе ходил в Карское море. И с тех пор ест цыпленка с таким видом, словно задрал белого медведя на полюсе... Когда я слышу фамилию Соколов-Микитов, мне кажется, что это не один человек, а два – оба в высоких сапогах, за голенищами – ножики. А он до жути добрый и прекрасный человек. Но больше всех меня изумляет Костя Федин. Он смотрит на всех своими серыми буркулами, мудрый, все наперед знает, балуется с трубкой

и скептически ухмыляется в мою сторону. Оставьте ваш скептицизм, Костя Федин!.. Между прочим, Костя пишет сейчас великолепный роман...

Слушай, Васенька. Почитай нам Пушкина: «Я вас любил, любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем...» (Читает до конца все восемь строк.) Лучше Василия никто в мире не читает и никогда не будет читать. Это – абсолютно гениальное чтение. Я говорю сейчас совершенно серьезно. С такой богатой вибрирующей красотой голоса, с таким пониманием духовной сути поэзии...

Качалов. Ты прекрасно прочел, Алеша. Ты же во всем очень талантлив...

Толстой. Если я такой – я тебя умоляю. Прочти монолог Ивана Карамазова. Хочешь, все женщины встанут перед тобой на колени?

Качалов. Ну что ты, что ты! Зачем!

Толстой. Затем, что ты – великий артист, и мы на тебя молимся!

Качалов (с укором). Не говори так. И не умоляй. Я потом просто возьму и прочту. Помнишь, Есенин посвятил стихотворение нашей собаке? Так и называется «Собаке Качалова». (К кому-то из гостей.) Да-да, то самое: «Дай, Джим, на счастье лапу мне...»

Толстой. Я эту собаку, качаловскую, видел. Самая обыкновенная собака. За такую в прежнее время в Москве на Смоленском рынке полтину давали. Это – древний блохастый пес. Сидит у них в передней, стучит хвостом и все время отворачивает морду, чешет за ухом – блох напускает...

Качалов. Ты не прав, Алексей. Он умный, чистый. И душою, и телом.

Толстой. Да нет, я не к тому. Ты читай. Потому что это стихотворение абсолютного гения. Это я говорю совершенно всерьез. А что вы думаете! Есенин – гений. И когда-нибудь это поймут... Я тебе не буду мешать – что хочешь, то и читай...

Я как-то написал сказку про евинью-художницу, Самую нормальную сказку, Напечатал где-то, деньги проели, и я про нее совершенно забыл. И вот однажды я услышал эту сказку в Васином исполнении. Я был поражен! Получилась абсолютно гениальная сказка. И я тут совершенно ни при чем. Все сделал он. Качалов, мы тебя умоляем...

Качалов (ко всем, улыбаясь). Все выдумывает. Просто сказка отличная. А есть у него и еще одна сказка; где отгрызли волки у мерина хвост – глядеть тошно. Взял мужик мочалу, приспособил ему новый. А волки увидели – опять хвост. Кинулись и отъели. Да обознались. Сидят на току, давятся хвостом, кашляют...

Толстой. Это не та!

Качалов. Ну разумеется. Ты хотел про евинью-художницу – она еще лучше. Необыкновенная по глубине. Свинья потерлась об забор боком и нарисовала большое грязное пятно. А другие скоты подходят и ну хвалить: «Великолепно! Замечательно!» И решила тогда свинья, что она и впрямь великая художница... Ты, Алексей, верно, сам не понимаешь, какая это великолепная вещь!

Толстой. погоди! Ты сейчас спутал две сказки. Одна – про мерина. А другая про свинью. Вот теперь гость подумает, что я, писатель, не могу, отличить мерина от свиньи (говорит это с серьезным лицом и вдруг хохочет, напуская рык)... А во всем виноват Костя Федин. Пришел утром в красивой одежде, бантик кис-кис. У нас дети плачут, бабье орет, кидают сковородки на пламенную плиту. А Костя пугает: «Боюсь, говорит, Качалов после спектакля не станет читать. Тем более, что он сегодня же уезжает в Москву». Я ему объясняю: «Будет читать. Он всегда читает, потому что он – вдохновенный артист: читать для него – главное удовольствие». А Костя говорит: «А если он с удовольствием откажется от этого удовольствия?» Побились об заклад. И вот... действительно... Ты чему, Федин, радуешься? Думаешь – выиграл? Да я все равно ни в какие предсказания не верю, хотя однажды со мной была замечательная история.

В 1922 году, когда мы жили в Ленинграде, на Ждановке, я, как безумный, работал над «Ибикусом» (повесть, которую совершенно не заметила критика, а я считаю ее из самых луч-

ших моих вещей). Вдруг в кабинет ко мне входит Туся: «Алеша, пойди купи детям молока». И смотрит на меня фиалковыми глазами, полными глубокой материнской тоски. А я знаю – у нас ни копейки в доме: три раза занимали у Щеголевых. Я говорю: «Денег нет. И пока я не сдам эту рукопись в ГИЗ, всех детей от мала до велика надо кормить грудью». А она улыбается, достает кошелечек, из того кошелечка – десятирублевик золотой, дает мне его на ладошку. «Вот, говорит, единственный. Я провезла его через все революции». Я смотрю – он сияет неестественным блеском, начищен как пуговица. Зажимаю его в кулаке, в карман ставлю бутылку с рваной соской, отправляюсь менять монету в банк, на Большой проспект.

А в ту пору у нас на пустыре за Ждановкой раскинулся табор цыганский. Стук стоит страшный. Сидят кузнецы – цыганы бородатые, бородищи черные, курчавые как курпей. Куют котлы. И ребятишки возле них возятся – маленькие, заморенные, глазищи в пол-лица. И неслыханной гипнотической силы. Если такой ребяенок посмотрит на тебя пристально – в кишках холод. А если вот такого взять и помыть с мылом – он помирает, он не вытерпывает чистоты... Смотрю – за мной увязалась старая страшная цыганка – патлы распущены, клыки торчат: «Барин, покажи ручку». – «Да не верю я, говорю, твоим гаданьям, и денег у меня нет». – «Неправду говоришь, бариночек, у тебя в левом кулачке денежка золотая. Вынь кулачок, покажи ладошку». При этом она делает отвратительные крючки пальцами, и я иду за ней, как в гипнотизме. И чувствую, неестественная сила побуждает... вынул кулак, разжал... (Пауза опытного рассказчика, и плаксивым голосом.) Я с тех пор не видал ни одного золотого!

А старуха быстро так бормочет: «Знай, красавец, будешь ты знаменитый, счастливый, а через восемь лет будешь богатый, напишешь книгу в двух томах про высокого царя. А звать тебя Алексеем!» И я вот до сих пор не пойму, откуда эта жуткая старуха с Петроградской стороны за восемь лет могла предвидеть, какие будут дела в советской литературе, что времена РАППа кончатся и напечатают моего «Петра». Я как вернулся тогда домой без молока и без денег – тут же сел и описал эту цыганку на первой странице «Ибикуса». Ну что, Федин Костя! (Оглядывает одного за другим сидящих за столом хохочущих гостей, спрашивает.) Хорошо я его осадил? (Улыбается и вдруг исторгает смех: «Хшшаааааааааааааааа».) Васенька, ты отдохнул? Давай на палубу, работать пора...

Сейчас Василий прочтет нам отрывок из «Воскресения» Толстого. Ну, господи! «Какого, какого». Льва! – вот какого! Вы только смеяться можете, а в чем там дело в романе, небось не помнит никто! Нехлюдов – офицер молодой. Гостил в имении, у тетюшек – две старушки-близнецы, невзрачные, ростом с мизинец. И без зубов. Тьфу!.. А у них – воспитанница, Катюша, – черненькая, косенькая, свеженькая. Влюбилась в Нехлюдова. А он ее обрюхатил и отъехал. А потом она узнает, что Нехлюдову проезжать мимо их станции, где поезд всего три минуты стоит. Она прибегает, только его увидела в окошке за стеклом – и звонок. И вот Качалов читает: «Бежала за поездом...» Это невозможно слушать без затаенных слез и огромного какого-то очищающего волнения. Когда я слышу это в Васином чтении, я каждый раз поражаюсь – какая сила и резкая художественная точность в этом произведении... Все-таки Лев Толстой – писатель ни с кем не сравнимый. Но характер был у него – жуткий. Только одна Софья Андреевна могла сладить с ним – у нее характер был покрепче, чем у него...

Сейчас мы получим великое наслаждение, потому что Качалов читает изумительно! Это – грандиозное искусство! Тише вы там! Шапорин, Юрий! Он начинает.

Качалов. Я думал другой отрывок прочесть... где они в горелки играют... Но ты уже объявил... Прочту для тебя, как дань огромному таланту твоему! Личности. Громадному человеку – Алексею Толстому.

Толстой. Да ты не хвали меня, а читай. Умоляем тебя, а ты тянешь. Мы уже заранее в слезах. Приготовились тебя слушать, а ты тянешь?

Качалов (снимает пенсне, переплетает пальцы, становится очень серьезным и, словно припоминая что-то, начинает голосом, от которого дрожат и долго и долго будут дрожать

сердца). «Долго в эту ночь не могла заснуть Маслова, а лежала с открытыми глазами и думала. И вспоминала ту ужасную темную ночь, когда Нехлюдов проезжал из армии и не заехал к тетушкам. Тетушки ждали Нехлюдова, просили его заехать, но он телеграфировал, что не может, потому что должен быть в Петербурге к сроку. Когда Катюша узнала это, она решила пойти на станцию, чтобы увидеть его. Поезд проходил ночью, в два часа. Катюша уложила спать барышень и, подговорив с собою девчонку, кухаркину дочку Машку, надела старые ботинки, накрылась платком и побежала на станцию.

Была темная осенняя, дождливая и ветреная ночь. Дождь то начинал хлестать теплыми крупными каплями, то переставал. В доле, под ногами, не было видно дороги, а в лесу было черно, как в печи, и Катюша, хотя и знала, хорошо дорогу, сбилась с нее в лесу и дошла до маленькой станции, на которой поезд стоял три минуты, не заходя, как она надеялась, а после второго звонка...» (Качалов произносил этот текст, который был уже не одного Льва Николаевича Толстого текст, а их совместный, с Качаловым, – рассказ о том, как Катюша увидела его в освещенном купе и постучала зазябшей рукой. И он, узнав ее за стеклом, пытался опустить раму, но тут поезд тронулся, и она сперва пошла быстрым шагом, а потом побежала, и мимо нее мелькали уже вагоны второго класса, а потом еще быстрее замелькали вагоны третьего класса, и, когда пробежал последний вагон с фонарем сзади) «...она была уже за водокачкой, вне защиты (рассказывал Качалов), и тут ветер – ветер набросился на нее, сорвал с головы платок... «Тетенька Михайловна, тетенька Михайловна, – кричала девчонка Машка, – платок потеряли, платок потеряли!..» (И Качалов глядел куда-то вдаль, словно видел все это за стеной толстовского дома...) Тут Катюша остановилась, закинула голову назад и, схватившись за нее руками, зарыдала:

– У-е-хал! – закричала она. – Уехал!

Девочка испугалась и обняла ее за мокрое платье:

– Тетенька, домой пойдем...

«Пройдет поезд – под вагон, и кончено», – думала между тем Катюша, не отвечая девочке.

Она решила, что сделает так. Но тут... (До сих пор слышу, как Качалов словно прислушивался, когда говорил это.) Но тут... ребенок... который был в ней, его – Нехлюдова – ребенок... вдруг вздрогнул, стукнулся и плавно потянулся и опять стал толкаться чем-то тонким, нежным и острым. И вдруг все то, что за минуту так мучило ее, что казалось, нельзя было жить, вся злоба на него и желание отомстить ему хоть своей смертью – все это вдруг отдалилось. Она успокоилась, закуталась платком и поспешно пошла домой.

Измученная, мокрая, грязная она вернулась домой, и с этого дня в ней начался тот душевный переворот, вследствие которого она сделалась тем, чем была теперь...»

Качалов берет со стола пенсне, надевает. Все молчат. Пауза.

Качалов. Вот видишь, Алеша, надо было с другого начать. А то все загрустили...

Толстой. Ну и правильно сделали, что загрустили. От большого искусства может сделаться грустно. Я считаю, что это совершенно гениально! А ты, Василий... Ты абсолютно несчастный человек. Потому что ты никогда не бывал на спектаклях Качалова. Ты же великий актер, ты – целый театр. И ты – единственный, кто этого не знает. Мне жаль тебя... Костя, скажи ему, что мы присутствуем при огромном и неповторимом явлении искусства. И что Вася – великий человек.

Качалов. Вовсе это не так. Это ты – большой, всем нужный, талантливый, любимый всеми нами Алексей Толстой.

Толстой. Постой, ты не понимаешь, что ты открыл людям новые стороны Льва Толстого. Вот пусть они послушают из «Воскресения» начало самое, которое написано на первой странице, потом переходит на вторую, потом – на третью. И в середине третьей страницы первая точка. Место, которое доказывает, что Лев Толстой ненавидел знаки препинания, они разры-

вали его мысль. Мне один актер из Саратова рассказывал, что это место нельзя прочесть вслух, потому что некогда заглотать слюни, а нужно без передышки палить, как из духового ружья. Один такой будто вышел на сцену читать это место, поперхнулся и помер в жутких мучениях...

Качалов. То есть как помер?

Толстой. Да так: взял и помер. Отошел. Преставился. Загудел... Твое здоровье, Вася, немислимый ты человек. Пойми ты, наконец, что ты – бесконечный талант. И мы тебя обожаем чудовищно.

Качалов. Нет, видишь ли: я только хочу сказать – дело тут не в том, когда «заглотать слюни». А просто это начало потому сложно, что оно не описание человека, или природы, или события, а мысль, философия самого Льва Николаевича:

«Как ни старались люди, собравшись в одно небольшое место несколько сот тысяч, изуродовать ту землю, на которой они жались, как ни забивали камнями землю, чтобы ничего не росло на ней, как ни счищали всякую пробивающуюся травку, как ни дымили каменным углем и нефтью, как ни обрезывали деревья и ни выгоняли всех животных и птиц, – весна была весною даже и в городе...»

Ты понимаешь, Алексей, тот, кто произносит этот текст, должен видеть и эту траву. И деревья. И камни. И весну. И в то же время, произнося эти слова, не живописать, а вникать в обличительный смысл. И помнить, что это – Толстой Лев Николаевич видит их так, а вовсе не я так вижу...

Толстой. Нет, ты продолжай читать! В ту же секунду! Нельзя прерывать художественное наслаждение посредине. Ты не имеешь права...

Качалов. Нет, Алеша, голубчик, ехать пора. Утром репетиция в Москве. Вечером – трудный спектакль. Ты знаешь Всеволода Иванова? Он замечательную написал пьесу: «Бронепоезд 14–69». Я в этом спектакле играю партизанского вожака Никиту Вершинина – борода-того сибиряка такого... Очень сложная роль. Там белые убивают большевика. И когда его тело доставляют на железнодорожной платформе, я должен речь сказать: «Больно сурово встретил ты нас, Илья Харасимович». Пьеса интереснейшая, будешь в Москве – приходи... А сейчас мне пора.

Толстой. Да ты что, Василий... Шутишь? Мы же не можем без тебя жить. Без тебя мы – как маленькие с завязанными пупками. Мы все померем, и ты будешь губитель младенцев. Погляди, как смотрят на тебя Коля Радлов, Валентина Ходасевич и великий пушкинист Пе. Е. Щеголев. Не убивай младенцев, Василий! Поживи у нас несколько дней. Хочешь, на охоту поедем?

Качалов. Я не пойму, о чем это ты говоришь. Какая охота?! У меня репетиция!

Толстой. погоди. Все издательства возглавляет Артемий Халатов. Я достану у него справку, что ты охрип.

Качалов. При чем тут Халатов? Я же и хриплый остаюсь артистом Художественного театра.

Толстой. Тогда для смеха пошлем телеграмму, что помер. Они получают, падают в жутких корчах. А ты другой день: «Здрасьте, Константин Сергеевич». Сперва они всполошатся, а потом лучше оценят. Знаешь, как будут тебя целовать?... Честное слово: оставайся у нас!

Качалов. Ну ты сам посуди. Времени уже просто в обрез. Мы сейчас у тебя в Детском Селе. Отсюда надо добраться до вокзала. А с вокзала на вокзал в Ленинграде. А там с вокзала переехать на другой вокзал. А там сесть в поезд и приехать опять на вокзал. В Москве. А уж оттуда – в театр, в проезд Художественного театра – в бывший Камергерский. А коли вовремя не явиться – пойдут переборки, распекаания, взбуктовывания и всякие должностные похлебки – все то, чем угощает начальник своих подчиненных. Помнишь, как это у Гоголя сказано? Гениально!

Толстой. Господи ты боже мой! Что это за удивительный и прекрасный русский язык, если украинский парнишка из Миргорода с длинным носом и с хохолком на башке может одним поворотом гусяного пера пустить в мир окрыленное слово: взбутетенивать! Слово, какого не придумать никому в мире. Давай, Васенька, взбутетеним гостей. Ничего не едят, не пьют, на тебя смотрят, гордятся. Взгляни им в глаза. В них восторг, безумная страсть, поклонение божеству и жадность людей, голодающих по твоему замечательному искусству.

Качалов (поднимается). Мечтаю остаться с вами, Алеша, но ты понимаешь...

Толстой. Неужели ты никогда не опаздывал?

Качалов. Нет, конечно. А если и пропускал спектакли, то это уж по болезни... Голубушка Наталья Васильевна... На прощание – за ваше здоровье. И в вашем лице... (Напевает.)

*За милых женицин.
Прелестных женицин,
Любивших нас
Хотя бы час...*

Простите, друзья! Не надо обращать на меня внимание. Я сам найду дорогу. Сиди-сиди, Алексей. Не провожай. Ты нужен им. А я исчезну, не прощаясь, по-английски.

Толстой выходит за ним в переднюю.

Толстой. Ребятишки, шубу несите.

Качалов. У-у, сколько тут шуб повешено! Беличья... Медвежья... А моей нету. Мои юные друзья – уже несут шубу. И шапку. И палку...

Толстой. Да это не его шуба, черти, а Щеголева Пал Елисеича. В нее можно завернуть духовой оркестр с барабаном. Что вы устались на него, дьяволы!..

Качалов. Какие у тебя милые дьяволы. Это что ж – все твои дети, Алеша?

Толстой. Я не знаю, о ком ты говоришь? Тут семнадцать человек гостей, и среди них – Вячеслав Шишков с огромной рыжей бородой. Не надо тебе ехать, Василий. Это – безумие. Хочешь, ты оставайся, а я поеду играть за тебя. Я однажды играл Желтухина в собственной пьесе. Вышел на сцену, увидел черную яму зала и оркестровую яму, меня стало заносить юзом куда-то вбок, я повернулся к залу не тем фасадом – гляжу: передо мной публики нет. И тут я все позабыл, все слова. Скандальный.

Качалов. Тем более – не уговаривай меня. Ты пойми...

Толстой. Слушай. В последний раз я умоляю тебя вернуться к столу. Но если ты решил ехать – не продлевай мучений. И кроме того, ты опоздаешь. Это смешно.

Качалов. Ну, кажись, я готов, вот мой кафтанишко. Рукавицы на мне. Новый кнут – под мышкой. Помнишь, мы с тобой в гимназии учили это стихотворение! И никогда я не мог понять – при чем тут этот новый кнут?

Толстой. Не знаю: я вместе с тобой в гимназии не учился. И вообще ты много старше меня...

Качалов. Ну, Алеша... (Звук поцелуев.) Мой прекрасный (поцелуй), талантливый (поцелуй), умный Алеша Толстой!

Толстой. Спасибо тебе, милый, что ты приехал. (Целует, приговаривая.) Васенька. Миленький. Хорошенький. Оставайся... Что вы тут встали, мальчишки! Он же не пойдет на вокзал пешком. Извозчик у водокачки стоит. Пригоните пролетку к подъезду. Только смотрите, чтобы он не упал с козел. Он – страшный пьяница! И ты тоже беги! И ты!.. Ну, Василий... Знаешь, до чего ты довел нас? Мы решили, как только ты отъедешь – подведем под этот дом бочку с порохом. И... со всеми гостями... фюить! Они сами мечтают об этом, чтобы прекратить чудовищные мучения. Потому что жизнь без тебя не имеет никакого смысла.

Качалов. Я уезжаю, Алеша, с мыслями о том, какой ты великолепный, большой...

Толстой. Осторожно, Васенька, там три ступеньки... Крюшон не опрокинь между дверями! Посветите ему, ребята. Не упади...

Качалов. Сколько, ты сказал, ступенек?

Толстой. Да ты уже на земле!

Качалов. Земля, – закричали матросы!

Толстой (вышел на крыльцо, машет извозчику). Куда встал, извозчик! Куда ты кобылицу свою мордой в парк повернул. Не в парк ехать гулять – на вокзал. Милые мои! У него из башки дым идет! Федор, помоги ему развернуться. Возьми под уздцы... Да не кусается! Извозчик, давай сюда! Не туда заворачиваешь – там проволока колючая на заборе. Кобылице губы разорвешь... Будь здоров, Василий. Если он тебя вывернет, и ты еще будешь живой – возвращайся к нам. Мы тебя спрячем...

Качалов. Скажи-ка мне, Ваня, ты по какой улице повезешь?

Толстой. Ты поговори с кобылой – не с ним. Он – не в себе.

Качалов. Вот как!.. А почему возьмешь до вокзала?

Толстой. Уплачено.

Качалов. Так что же ты сердисься. Я же не знал. Но ты пойми, я бы мог сам... Иди в дом, Алеша. Ты не одетый, простудишься – осень холодная. Береги себя. Не нужно столько внимания. Я уеду один...

Толстой. Ты хоть разик взгляни на нас. Мы твои дети. Ты небось уедешь, о нас думать не станешь. А мы тут будем сидеть, воображать тебя. Если опоздаешь к московскому поезду – возвращайся!

Качалов (садится в пролетку). Ну, Ваня, трогай.

Толстой. Ступай, извозчик!

Слышно, как лошадь перебирает ногами. Сперва медленным, потом все более скорым становится цокот копыт. И тише пропадающий вдали голос Качалова:

– Простите, друзья мои!

Толстой. Василий! Не забывай!..

Затишающий цокот копыт.

История этого рассказа

Это первая попытка перевести в буквы рассказ, который долгие годы существует только в устной моей передаче и входит в число самых для меня важных «устных рассказов». Но...

Бумага способна закрепить текст. И бессильна передать самый «спектакль», игру – тембр голоса, манеру произношения, «поведения лица», жесты, «мизансцены», а главное, интонации, и тем самым весь интонационный подтекст.

Что касается обеда, о котором рассказ, то тут соединились впечатления от многих встреч с Алексеем Николаевичем Толстым и от единственной, с Василием Ивановичем Качаловым (потом-то, когда я уже исполнял этот рассказ публично, я не раз видел В. И. Качалова). Но в ту раннюю пору недостаточность впечатлений восполняла память о спектаклях с Качаловым, которые я видел по два и даже и по три раза.

Надо ли говорить, что рассказу предшествовало множество интонационных «эскизов», долгие, почти произвольные поиски интонаций, тембров, психологических наблюдений, вхождение в образ, за которыми можно было бы угадать «строение характера». Словом, стремление уловить то, что все слышат, но не осознают, не выделяют из потока впечатлений...

Я думаю, что «Обед в честь Качалова», как и другие мои рассказы, надо бы называть портретами, ибо в них воспроизводятся не моментальные состояния, а собирательное представление о человеке, в данном случае о двух замечательных людях русской советской культуры.

Алексея Николаевича Толстого я знал в продолжение двадцати лет, в различные периоды его жизни и в самых различных обстоятельствах – в Ленинграде, в Детском Селе, в Москве, на подмосковной даче в Барвихе, в Ярославле, в Ташкенте. В гостях у общих друзей. И у него дома. За рабочим столом. И за трапезой... Я восхищался им как писателем, любовался его натурой – сочной, феноменально талантливой, самобытной, компанейской, раскованной, «самоигральной». Да разве я один? Все, кто его знал, приходили от него в изумление. Что ж говорить обо мне! Я старался впитать в себя его речь, каждую фразу, и характер фразы, и смех, напоминавший одобрительное рычание, чуть носовой, «влажный» тембр его голоса и несколько растянутое, очень отчетливое произношение, которое сменялось чуть стилизованной скороговорочкой, ставшей его натурой. Увлекала беседа, полная шуток, баловства, а то вдруг важная, серьезная речь – неторопливая, обдуманная здесь же, в вашем присутствии, и выраженная точным, отобранным словом.

Вскоре в кругу друзей, а потом и перед широким кругом знакомых я начал воспроизводить с преувеличением характер его речи, суждения, шулки, и говоренное им, и не говоренное им никогда, но в его духе. А потом мог в его образе, его голосом, в его манере импровизировать с ходу, без затруднений, потому что в эти минуты я больше был им и гораздо меньше собой.

Это называли имитацией. Но имитация требует сопоставления, требует от того, кому ты рассказываешь, знакомства с «оригиналом». Между тем на эти рассказывания почти одинаково реагировали те, кто Толстого знал, и те, кто никогда не встречал его. Я понимал, что это – не имитация. Однако не возражал. Говорили: пародия. Но пародия должна вызывать эффект комический. Между тем, когда «Качалов» читал у меня эпизод из «Воскресения», слушатели становились серьезными. Никто не смеялся. Это потом уже смеялись, когда опять шли шуточные эпизоды.

Точно сказать, в каком году был прием в честь Качалова, не могу. Думаю, что в 1928 или в 1929 году. Но знаю, что в рассказе много анахронизмов. Я не устранию их: в данном случае меня интересует не событие, а характеры. И тут складываются впечатления разновременные. Тем более, что возник рассказ не сразу, а через несколько лет.

В 1933 году, когда я был еще ленинградцем, я почти ежедневно бывал у замечательного литературоведа, моего учителя Бориса Михайловича Эйхенбаума, помогал ему составлять комментарии к сочинениям Лермонтова. Он жил тогда на канале Грибоедова, 9, где обитали в то время чуть ли не все известные ленинградские литераторы.

Как-то зашли к нему соседи – Евгений Львович Шварц с женой Екатериной Ивановной, Зоя Александровна Никитина с Михаилом Эммануиловичем Козаковым, и был еще, если не ошибаюсь, театровед и критик Сергей Львович Цимбал. По просьбе «публики» я показал Толстого и Маршака. От Алексея Толстого перешли к Льву Толстому, заговорили о спектакле «Воскресение» во МХАТе, о том, как исполняет роль «От автора» Василий Иванович Качалов. Я стал показывать, как Качалов читает, и упомянул про обед у Толстого. Шварц потребовал, чтобы я показал все по порядку и в лицах. (Он часто заставлял меня вводить в оборот новые, еще не опробованные сюжеты.) Тут он сказал:

– Сейчас же расскажи, как он приехал, как встретил его Толстой...

Я удивился:

– У меня такого рассказа нет.

– Нет, так будет.

– Я даже не знаю, с чего начать.

– А ты начни, и начнется.

– Сперва они разговаривали в передней...

– Так иди в переднюю и начинай.

Я вышел и голосом Толстого позвал:

– Туся, Вася Качалов приехал!..

И рассказал все без запинки – примерно то, что вы уже знаете. Закончил цокотом лошадиных подков, изобразив это цоканье языком. С детства я цокал, изображая бег лошади, но не знал, к чему применить эти звуки. Наконец применение нашлось.

Когда я умолк, Шварц с хохотом стал при мне разбирать и пересказывать эту историю.

С тех пор я исполнял эту историю постоянно. В клубах интеллигенции. В гостях. В концертах. В войсках Калининского фронта. На Южном фронте. В партизанском отряде на смоленской земле. Как и в других моих устных рассказах, текст каждый раз изменялся, применительно к аудитории, к ее представлениям. И каждый раз словесное наполнение и степень сходства диктовались чувством такта по отношению к теме, к аудитории и, естественно, к изображаемым мною лицам. Но, несмотря на порою лихие трансформации текста, сложившаяся конструкция оставалась. И многие части текста сохраняются до сих пор.

Вначале я исполнял этот рассказ в редакциях, в кулуарах Ленинградской публичной библиотеки, в Пушкинском доме, в гостях. В Москве начал исполнять на своих вечерах. Наконец и Толстой увидел себя. И себя – Качалов. Потом вместе с Алексеем Николаевичем Толстым я приехал к Алексею Максимовичу Горькому. И так случилось, что Горький попросил повторить этот рассказ еще и еще раз для вновь прибывавших к нему гостей. А через две недели мне снова посчастливилось в четвертый раз исполнить его перед Горьким. И Толстой ободрял меня своим доброжелательным смехом. Горький же не только одобрил рассказы, но заметил при этом импровизационные различия в тексте. Потом я не раз исполнял эту историю в доме Алексея Николаевича Толстого для гостей. Потом...

Потом это превратилось в воспоминание.

С ходом времени смешное улавливается все меньше. Да и сам рассказ стал строже – по исполнению. В 1946 году я записал его на магнитную ленту. Затем отрывок из него вошел в телевизионный фильм. И вот, наконец, – первая попытка положить этот текст на бумагу. Судить о том, что из этого получилось, – не мне.

Благородный Качалов

Думаю, что нет человека, который слышал Василия Ивановича со сцены, с концертной эстрады или по радио и, снова услышав его, не встрепенулся бы при звуке этого волшебного, небывалого в мире голоса. Не ощутил бы над собой его непостижимой власти и не упился бы поминаниями о Качалове, о его вдохновенной игре. Ибо Качалов – одно из самых совершенных явлений искусства, целая глава в истории русской культуры, любимый актер стольких поколений, вступивших в жизнь в первой половине XX века, олицетворение духовной мощи русского человека, его глубокой мысли, высокого человеческого достоинства. Поэтому появление Качалова перед публикой очень часто из события театрального превращалось в общественное событие.

Исповедуя принципы Художественного театра, он всегда и во всем утверждал верность жизненной правде. Но в его воплощении эта правда была особенно прекрасной, возвышающей, праздничной.

Трудно назвать актера такого же огромного диапазона. Сценические создания Качалова поражали бесконечным разнообразием. Это наивный, трогательный студент Петя Трофимов и величественный Юлий Цезарь. Смешной и жалкий Барон из ночлежки. И скорбный шекспировский Гамлет. Трагический Иван Карамазов и болтун Репетилов. Смелый Чацкий. Мечтательный Тузенбах. Беспомощный царь Федор, жизнелюбивый Дон Гуан, аскетический Бранд. Обличаемый Захар Бардин во «Врагах» Горького и обличитель, ведущий роль «От автора», в «Воскресении» Л. Толстого. Император Николай Первый и партизанский вожак Никита Вершинин. Образы героические и гротескные. Лирические и острохарактерные. Утверждающие и разоблачающие. Столь непохожие между собой. И все принадлежат к высшим достижениям мирового театра.



Василий Качалов

Сам К. С. Станиславский назвал Качалова великим актером. А Вл. И. Немирович-Данченко считал, что в покоряющем воздействии искусства Качалова, в масштабе его дарования было что-то роднящее слово Качалова с пением Шаляпина.

Замечательными были не только спектакли с Качаловым, но и выступления его на театральной эстраде. Когда мы теперь говорим об искусстве художественного чтения – искусстве, развившемся уже в нашу, советскую пору, – следует помнить, что предшественником и учителем нынешних мастеров слова и первым среди них был, конечно, Василий Иванович Качалов. В наши дни, когда публика в течение целого вечера слушает прозу Гоголя, Чехова, Льва Толстого, даже трудно представить, какое событие, какой новаторский подвиг составляло исполне-

ние Качаловым такого огромного текста, как, скажем, монолог Ивана Карамазова – «Разговор с чертом», который длился около получаса. При этом у Качалова была поразительная способность – воссоздавать на публике рождение мысли, увлекать раскрытием сложной философии текста... А какой отклик рождало тогда качаловское чтение стихов!

...Перед публикой выступал художник тонкий и благородный, художник мудрый, глубоко современный, влюбленный в литературу, в поэзию, любой аудитории умевший внушить свой восторг, свое трепетное отношение к слову. Как наслаждался зал качаловской манерой держаться, всем обликом этого статного, красивого и скромного человека, как вслушивался в вибрацию голоса, в звучание стиха – Пушкина, Блока, Маяковского, Есенина, Твардовского, Тихонова, Багрицкого...

...Он не только читал – он играл на эстраде то, чего ему не пришлось сыграть в театре. Тут играл он уже не одну роль, а давал свое истолкование драматическим замыслам, включал в свои программы отрывки и сцены из пьес Пушкина, Горького, Шекспира, Островского – иной раз целые акты. И постепенно пришел к созданию театра в одном лице. Подлинным украшением репертуара этого качаловского театра была сцена из горьковской пьесы «На дне», в которой Качалов сорок пять лет играл роль Барона. Даже и среди качаловских созданий этот образ принадлежит к числу самых сильных, глубоких и острых. В последние годы жизни Качалов стал один исполнять в концертах сцену – разговор Барона и Сатина. И еще раз показал необычайную широту своих художественных возможностей.

Но есть среди вдохновенных созданий Качалова особое, которое открывает еще одну грань его удивительного таланта, – Эгмонт! Навряд ли когда-нибудь слово рядом с музыкою Бетховена являлось столь пламенным и столь задушевым. Великий мастер театра реалистического открывался в этой работе как великий актер романтического театра! Навряд ли еще когда-нибудь в XX столетии монолог из трагедии Гёте мог так волновать и одушевлять переполненную аудиторию! Трудно передать тот восторг, который охватывал ее, когда Качалов произносил последние слова монолога и начинался ликующий финал... Счастье, что Качалов записан, что звучит и вечно будет звучать его голос, его могучее слово – одно из величайших чудес искусства нашего века.

Прогулка

Илл.2: «Я расскажу вам...»

Когда Толстые переехали в Детское Село, мы с братом стали ездить в Детское. Сперва как друзья Федора и Марьяны, а потом сами по себе, просто в гости. Или на чтения. Читал Толстой свои сочинения изумительно, разыгрывая на голоса и получая при этом невыразимое наслаждение. Время от времени вынимал золотое самопишущее перо, – в те годы это еще было редкостью, – неторопливо исправлял слово. Очень помню чтение первого варианта пьесы о Петре Первом, которая вскоре пошла во МХАТе Втором. Было очень много гостей. В их числе – писатель Баршев с женой Людмилой Ильиничной, которая через несколько лет стала женою Алексея Николаевича Толстого.

Помню первое чтение великолепнейшего рассказа «Гадюка». Помню Толстого, читающего «Морозную ночь», последние главы романа «Восемнадцатый год».

Иногда, случалось, позовет к себе в кабинет, спросит:

– Хочешь, прочту тебе, что я сейчас написал?

И читал очередную главу из «Петра», чтобы и самому послушать, как звучит его живая, сильная, сочная русская речь со вкраплением в нее устарелых и чужеземных слов. Не только в описании событий, но и в самом языке он сумел изобразить столкновение старины с новизной. До сих пор память слышит голос его, читающего про боярина Романа Борисовича Буйносова, которого по указу царя обрили, переодели в немецкое платье, а на голову нацепили парик. И все вокруг стало не свое – иноземное. Сидят дочери в палате в немецких робах со шлепами, старшая в робе цвета «незабвенный закат». Сидят, делают с утра плезир – пьют чай и кофе. Старуха Буйносова встала, чтоб поклониться вошедшему мужу, – дочь зашипела на мать: «Сядьте, мутер...» Буйносов просит поднести ему чарку водки – дочь учит: «У вас, фатер, один разговор каждое утро – водки...» – «Молчи, кобылица, – закричал Роман Борисович, – ай, плетку возьму».



«Я расскажу вам...»

Приехала гостья, делает политес изрядный. Буйносовы девы, заваливаясь на зады, в свой черед делают гостье галант. За ними и сам Буйносов, шевеля босыми губами, трясет перед собою шляпой, лягает ногами... «О господи, зачем это все?!»

Прочтет Алексей Николаевич и спрашивает, каково впечатление. Или, бывало, расскажет что-нибудь о предстоящей работе.

Однажды – думаю, что это было в 1928 году, – я загостился у них, пропустил последний поезд на Ленинград. Оставили ночевать. Утром, когда дом еще спал, я собрался потихоньку уйти, спустился вниз. Алексей Николаевич завтракал. Сказал:

– Налей себе кофе, поешь и пойдем – я хочу погулять до работы. Снегу сколько насыпало за ночь... И – слышишь?.. – как стало тихо. Тут воздух чистый, потому и снег такой белый. Солнца нет, а празднично и светло – это голубое сияние снега. Под солнцем тени были бы синие. Русский снег замечательно пишет Кустодиев...

Он допил кофе, мы вышли. За ним выскочил из дому сеттер по кличке Верн. И сразу стал метаться в разные стороны, нюхал снег, лаял. Толстой недовольно следил за ним:

– Еще недавно был дивный охотник. А сейчас – старье, абсолютно бессмысленный, беспамятный пес. Нюх отбило, ему все равно, что куча навозу, что палка. Вон побежал – собачонку увидел... Нет, забыл, за чем побежал, отвлекся. На грудных детей лает, разбойникам лижет подметки... И люди такие же в старости: бестолковые, суетливые... Верн – дурная башка! Ко мне!

Нагнулся, запустил в собаку снежком, посмотрел и развеселился.

Прошли мимо домика, где прежде жила фрейлина Вырубова – та, что первой способствовала возвышению Распутина. Толстой с брезгливой гримасой стал говорить о Распутине:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.